

А. А. Григорьев

О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене. (Продолжение)

И дондеже прямое правосудие у нас в России не устроится и совершенно не укоренится оно, то никакими мерами от обид богатым нам быть, яко и в прочих землях, невозможно, такожде и славы добрыя нам не нажить; понеже все пакости и непостоянство в нас чинится от неправого суда, и от нездорового рассуждения, и от нерассмотрительного правления и разбоев. И иного воровства много чинится, и всякие многие обиды содеваются в людех ни от чего иного, токмо от неправого суда; и крестьяне, оставя свои дома, бегут от неправды, и российская земля во многих местах запустела, и все от неправды, и от нездорового и от неправого рассуждения. И какие гибели ни чинятся, а все от неправды...

...А без урону я не чаю установится правде, а прямо речи — и невозможно правому суду установится, аще сто другое судей не падет: понеже у нас в России неправда весьма застарела («Соччинения» Ив. Посошкова». Москва. 1842 г., стран. 87,— 85, 86).

Эти слова Посошкова, человека, которого самая природа была так устроена, что сердце кипело у него при виде всякой неправды, человека, который, подписываясь *мизирным робичищем*, подавал самые смелые проэскты, — выражают крайнюю степень того взгляда сверху, которым отмечены его поистине драгоценные сочинения. На первый раз этот взгляд покажется столько же отрицательным, как и взгляд Котошихина, — но различны основы обличения «*вельми застаревшей на Руси неправды*» у двух этих писателей, представляющих собою две стороны русского отрицания. У Посошкова отрицание выходит из того высшего положения, которым начинает он свою глубокомысленную главу о правосудии: «Бога правда; правду Он и любит. Аще кто восхоцет Богу угодить, то подобает ему во всяком деле правду творити», — положения, которое переходило у него в плоть и кровь, в убеждение души. У Котошихина отрицание — работа одной головы, и притом головы, оправдывающей разврат сердца: беглый дьяк, явный прелюбодей и, наконец, убийца, подпавший уголовной каре даже на чужбине, — Котошихин не был уполномочен на отрицание, как уполномочен на него Посошков, и мы нисколько не обязаны уважать его отрицательного взгляда, тогда как, напротив, на веру должны принимать то, что говорит Посошков, который не только отрицал, но и полагал, целую жизнь делал дело, целую жизнь словом и примером собственным проповедывал: «чтоб дней своих никакие люди даром не теряли и хлеба б даром не ели. Бог не на то хлеб нам дал, чтобы нам его, яко червию, съев да в тлю претворити. Но надобно, хлеб ядши, делать прибыток Богу и Царю своему, и всей братье, и себе, дабы не уподобитися непотребному червию, иже токмо в тлю вся претворяет, а пользы ни малыя людям, кроме пакости, не содевает» («Соччинения» Посошкова», стр. 105).

Одним словом, повторяем опять: обличение и отрицание «*вельми застаревшей неправды*» выходит у Посошкова из основ его идеального взгляда. Мы

увидим, как строго и сурово оно, увидим, как оно даже односторонне и иногда узко в отношении к живой жизни народа, но должны почтить его, должны признать его относительную законность. Им начинается целый ряд возвышенных, более или менее резких, более или менее пламенных, более или менее правдивых отрицаний во имя идеала, — отрицаний, отмеченных именами Кантемира, Фон-Визина, Грибоедова, Гоголя. Посошков — представитель отрицательной стороны народного взгляда, основанной на пламенной вере в то, что «Бог правда и правду Он любит», — вере, по существу своему жгучей, сухой и тревожной, — вере, которая способна была бы иссушить сердце, если бы в том же народе не умерялась столь же пламенной верою в столь же высшее положение, что «Бог любви есть».

Вера в правду, необходимо порождающая желание осуществить на земле идею правды, и притом — если брать эту веру в крайних проявлениях ее — осуществить во что бы то ни стало, хотя бы и *не без урона*, употребляя выражение Посошкова, — по существу своему есть отрицательная, ибо выражается всегда в отрицательном, обличительном отношении к неправде жизни. *Полагает* она на место отрицаемого только общие идеальные основы, иногда весьма смутно, но всегда более или менее личные, созерцанием создаваемые. Тем оно выше, тем плодотворнее, чем яснее эти основы, чем они объективнее, действительнее, чем более стираются личные причины раздражения и заменяются высшими, нравственными. За раздражение беглого дьяка Котошихина, основанное на личных и притом нечистых побуждениях, за раздражение других его последователей, которые не довольны окружающею их действительностию, потому что нет в ней простору их чрезмерно утонченным потребностям, — потребностям, развратным, положим, хоть посреди этой только их окружающей действительности, нельзя дать медного гроша: оно не есть ярость по правде, но только злорадство неправде: оно под своим личным углом зрения всякую частную и случайную мерзость возводит в общее и само в себя подрывает веру, потому что, выводя на посмех черты мелкие, забывает, по злонамеренности или по нравственной тупости, воздавать должную справедливость чертам крупным, как будто другие так все слепы, что их не увидят. Поясним примером: когда Котошихин, а вслед за ним и иные, основывающиеся на его словах, рассказывают, что «Российского государства люди порокою своею спесивы и не обычайные ко всякому делу, понеже в государстве своем поучения никакого доброго не имеют и не приемлют, кроме спесивства, и бесстыдства, и ненависти, и неправды», они и не замечают, что возникает неминуемо вопрос, откуда же брались и где имели поучение столь многие думцы Московского государства, промышлявшие о государстве: в сношениях ли с Ордою, в малолетство ли государей, в смутные ли години бедствий народных, вожди на ратном поле, которым местнические счеты не мешали знать ратное дело? И так как означенный приговор свой Котошихин произносит по поводу неразумия будто бы в делах внешних сношений, то спрашивается, откуда брались и где имели поучение окольные и стольники, правившие посольства в чужих краях, умевшие то стойкостью, то ловкостью поддерживать неуклонно достоинство государственное, — откуда в них самих, в этих, например, Потемкиных, Чемодановых, Лихачевых и иных бралась такая крепкая вера в свое государство и его достоинство, в исстари завещанные формулы сношений, вера в достоинство своего народа, в превосходство коренных понятий своего быта, — откуда бралась в них такая раздражительность при столкновении с обычаями, противоречившими этим коренным понятиям? Чтоб не ходить далеко, вырываем наудачу почти место из посольства Потемкина во Францию.

Приходил к посланником откупщик Маршалка Дюка де Грамона и говорил: чтоб ему посланники велели дать сто дублонов золотых пошлины со всего, что у их есть посольского платья и всякой

рухляди. И стольник Петр и дьяк Семен ему говорили: купецких людей с нами и товаров никаких нет, кроме посольского платья, и никто ничего у нас не продаывал, иметь тебе у нас пошлины не с чего. И тот откупщик увидел у посланников образы окладные, Спасов да Пресвятыя Богородицы, и говорил: Не токмо-де с вашего посольского платья и со всякой рухляди пошлину возьму, да и с образов, что на них оклады серебряные с камнем и с жемчуги. И стольник Петр и дьяк Семен ему говорили: *Враг креста Христова! как ты не утрашился так говорить, что с образа Создателя нашего и Господа Иисуса Христа, Сына Божия и Пречистыя Его Матери, Пресвятыя Богородицы, что на тех Святых и честных иконах утварь устроена по нашей благочестивой Христианской вере, и ты с того хочешь пошлину, скверный пес, взять?* Не токмо было тебе с тех пречистых икон пошлина иметь и с посольского нашего платья и с рухляди никоими меры иметь было не мочно, потому посланы мы от Великого Государя нашего, от Его Царского Величества, к Великому Государю вашему, к Его Королевскому Величеству для великих их Государских дел и для братския дружбы и любви; а купецких людей и товаров никаких с нами нет, для того и пошлин иметь тебе с нам было не мочно. А видя твое бесстыдство и нрав зверский, как псу гладному или волку несыту, имущу гортань восхищати от пастырей овцы, так тебе бросаем золото, как прах. И выговоря ту речь, стольник Петр бросил ему сто золотых своих двойных на землю. И броса ему те золотые, взял на него письмо на голландском языке за его рукою, чтоб было про то ведомо у Королевского Величества в Парисе, с чего пошлину взял тот откупщик.

Несомненно кажется, что раздражение посланников, изумленных еще прежде безнарядиею государства, где откупщик Маршалка Дюка де Грамона без пошлины пропустить их не хочет, когда таможенный откупщик пропускает, — где явно царь жалуется, да псарь не жалуется, — основано на началах весьма ясных и твердо сознаваемых, на возвышенных понятиях религиозных и на возвышенных же понятиях о международных отношениях, «потому посланы они для великих их Государских дел и для братския дружбы и любви». Откуда же все это бралось, как мыслимы такая высота и твердость взгляда, если *научения никакого они не приняли, кроме спесивства и бесстыдства?*

Предупреждаем обвинения в частых уклонениях, к которым принуждены мы прибегать в нашем рассуждении, принявшем, по обстоятельствам, полемический характер. Эти уклонения в отношении к критике нашей имеют цель несколько педагогическую. Обличая на каждом шагу свое совершенное незнакомство со всем тем, что не нынешнее, не вчерашнее и не третьегоднишнее, доказав это недавно даже перепечаткою завещания историка Татищева в виде неизданного памятника и сочинения какого-то г. Солнцева, — она сама требует педагогических указаний на понятия, язык и чувствования неведомого ей, но доселе ведомого всей Руси мира, — которого современное выражение называли мы для вящего ее соблазна «новым словом». Под всяким приводимым нами примером критика должна подразумевать повторение одного и того же вопроса: чей это язык, чьи это понятия и чувствования? — сверяя все это в виде упражнения с тою или другою страницей той или другой драмы Островского, сличая Русакова, например, или отца Петра Ильича, как типы, с воззрениями Посошкова, или стольника Потемкина, или кого придется из русских людей. Естественно, и даже самой критике понятно, что такое сходство основ не есть что-либо списанное или изученное, что оно Островскому, как художнику, а не критику, не ученому специалисту, — далось весьма просто, синтетически, что проверка типов старыми типами, в настоящую минуту нами производимая, могла явиться только как пояснение возникших недоразумений — что, наконец, этого сходства *сделать* не можно, ибо если художник приступит к такому деланию, не имея в душе непосредственного синтеза, то он только иссушит воображение. Вообще умом до этого не дойдешь. Но можно и должно доходить умом и изучением до пояснения подобных явлений в мире искусства — и мы думаем, что критика наша, в которой никак не хотим мы отрицать возможности добросовестности, не обидится за те указания,

которые мы себе позволяем, и под конец даже согласится с нашими выводами, наведенная этими указаниями на многие соображения, до сих пор не обращавшие на себя должного с ее стороны внимания. Оговорившись таким образом, обращаемся снова к Посошкову, как к одному из типов, завещанных нам старою народною жизнью и, с другой стороны, как к первому по времени из представителей отношений мысли к народности.

Как высоко ставил Посошков свойства своего народа — всего лучше выражают слова, которые издатель его сочинений поставил на них весьма справедливо в виде эпиграфа, золотые слова из донесения боярину Головину: «Много немцы нас ушлее науками, а наши Остротою, по благодати Божией, не хуже их, а они ругают нас напрасно». Свято бережет он народность, подозрительно смотрит на отношение к ней других народностей, не доверяет их дружелюбию: веря в науку, не верит в учителей... «Я истинно, государь, не помалу дивлюся и недоумеваюся, что сказываются немцы люди мудры и правдивы, а учат все нас неправдою...» (стр. 272). «Верить им, — говорит он далее, — вельми опасно: не прямые они нам доброхоты, того ради и ученью их не весьма надобно верить. Мню, что во всяком деле нас обманывают и ставят нас в совершенные дураки» (стр. 273). «Мне, государь, весьма сумнительно в иноземцах, — а праведно ль я сумняюся или блазнюся, про то Бог весть, только то я совершенно знаю, что они всех земель торгуют торгами и всякими промыслами промышляют компанствами единодушно и во всяких делах себя они и свою братию хранят и возносят, а нам ни во что вменяют» (стр. 271–272). «Немцы никогда нас не поучат на то, чтоб мы бережно жили и ничего б напрасно не теряли; только то выхваляют, от чего б пожиток какой принял им, а не нам» (стр. 126–127). «Ей, Государь! — говорит он в донесении своем боярину Головину, — надобно от них опасаться; потому что свой своему поневоле друг и никогда иноземец не сверстает с собою русского человека» (стр. 284). «И о сем моем изъяснении чаю, что будут на меня гневаться, и если уведают о мне, что не на похвальбу им написал, всячески будут тщаться, как бы меня опроверщи. Я их множицею видал, что они самолюбывы, а нам во всяком деле лестят, деньги манят, а нас всякими вымыслами пригоняют к скудости и бесславию» (стр. 212, 213). Его опасения за народность простираются до крайней степени исключительности: мало знакомый, как и вся его эпоха — не только в России, но во всей Европе, — с общими политэкономическими законами, сам создававший их из тех данных жизни и торговли, которые были у него под руками, Посошков видит повсюду, и видит отчасти справедливо хитрость иноземцев, — советует поступать с ними покруче. «Хотя они и хитры, — говорит он, — в купечестве и в иных гражданских расправах, а еще уведают нашего купечества твердое положение о возвышении цены, то не допустят до двойной цены: будут торг иметь повсягодно, видя бо наше твердое постоянство, всячески упрямство свое прежнее и гордость свою всю и нехотя отложат: нужда пригоняет и к поганой луже. Для нас хотя они вовсе товаров своих к нам привозить не будут, мню, можем прожить без товаров их; а они без наших товаров и десяти лет прожить не могут. *И того ради подобает над ними господствовать, а им рабствовать перед нами и во всем упадок перед нами держать, а не гордость*» (стр. 121, 122). «Нам о том, — прибавляет он в другом месте, — весьма крепко надобно стоять, *чтобы прежнюю их пыху вконец сломить и привести бы их в смирение и чтобы они за нами гонялись*» (стр. 139). Полный крепкой и основанной на материальных фактах веры в неисчерпаемое богатство своей родины, в силы своего народа, во всемогущество самодержавной власти, ибо, как говорит он, «наш великий Император сам собою владеет и в своем государстве еще и копейку повелит за гривну иметь, то так и может правиться», — Посошков есть тип столько же современный,

сколько и старый: многих таких Посошковых, с окладистыми седыми бородами, услышите вы до сих пор — и услышите тот же язык, те же рассуждения, логически-здоровенные, крепкие, вылившиеся прямо из жизни, — и столь же исключительные. С таким же негодованием скажут они, как и Посошков, про иноземцев: «Сие странное дело, что к нам приехав с своими безделками, да нашим материальным товарам цену уставляють низкую, а своим товарам цену ставят двойную, а иным и выше двойныя цены» (стр. 122). Или: «Мне сие весьма диво: земля наша российская, чаю, что будет пространством не меньше немецких, и места всякие в ней есть, теплые и холодные, и гористые, и моря разные; морского берега колико под нами, и сметить невозможно: *от Кольского острова если берегом ехать, то годом всего его не изъехать — а никакия вещи у нас потребныя и не сыскалося*» (стр. 152). Когда читаешь эти слова, припоминаешь невольно многие другие, слышанные от живых людей; тот же толк, тот же тон, — тот же жар убеждения, не вырывающийся порывами, но ровный и постоянный. — Все понятно, все возвышенно в этой могучей, спокойно уверенно сознающей себя народности, все, — от убеждения в истинности и законности единой православной веры, ею исповедуемой, убеждения — перед лицом которого почти наравне стоят кирки и мечети, убеждения, весьма характеристически выражающегося в следующих словах в посольстве Лихачева во Флоренцию: «В Ливорне церковь греческая во имя Николая Чудотворца, а протопоп Афанасий; да в Венеции церковь же греческая, а больше того от Рима и до Кольского острога нигде нет благочестия», — убеждения, которое, мимоходом говоря, как непосредственное и крепко историческое, не имеет ничего общего с безобразною нетерпимостью «Маяка» и псевдо-славянской школы Шишкова, — от другого, столь же незыблемого, убеждения в том, что «Белый царь над всеми царями царь», по словам Голубиной книги, придающего даже флоренскому князю Фердинандусу в официальном акте посольства речь, соответствующую понятиям посланников о величии своего государя, которого «государским счастьем» они здоровы и сохранены от всякие напасти¹, убеждения, засвидетельствованного великими событиями 1612 года и перешедшего всею силою своею в грамоту об избрании Михаила Романова — до уверенности Посошкова, что мы благодатию Божиею «остротою» не хуже немцев и они ругают нас напрасно, — что им, иноземцам, а не нам перед ними подобает «рабствовать», даже до исключительности, устами Посошкова требующей прекращения ввоза товаров, которые «купя выпить да выблевать или приняв разбить и бросить» — «Их немецких рассказов, — говорит Посошков, — нам не переслужать; они какую безделицу не привезут, то *надседаясь* хвалят, чтобы мы больше у них купили» (стр. 124) — даже до той оригинальной политэкономической близорукости, которая, из страха за свое родное, самобытное,

¹ «И царского величества здоровье сказано было от посланников Флоренскому князю Фердинандусу в городе Пизе. И князь у посланников принял Государеву грамоту, и поцеловал ее, и почал плакать, и сам говорил чрез толмача по-италийски: за что меня, холопа своего, ваш пресловутый во всех государствах и ордах великий князь Алексей Михайлович, всей Великия, и Малыя, и Белья России самодержец, из дальнего великаго и преславнаго града Москвы поискал и любительную свою грамоту и поминки прислал? А он великий государь, что небо от земли отстоит, то он великий государь: славен и преславен от конца до конца всей селенныя: и имя его преславно и страшно во всех государствах, от ветхаго Рима до нового и до Иерусалима: и что мне, бедному, воздать за его, великого государя, велию и премногую милость? А я и братья мои Матиас, и Леопольд, и Ян Гратиян, и сын мой Косма его, великого государя, рабы и холопы: а его цареву сердце в руке Божией, — *ужто так Бог изволил*. А как князь с посланным витался и говорил речь, тогда стояли по обе стороны многие думные честные люди и служилые с нагим оружием... Князь Фердинанд бил челом царского величества посланником во Флоренск ехать прежде себя для того, что-де для вас будет стрельба многая, а сторонние подумают, что для меня-де стрельба, а не для вас будет» (примеч. Григорьева).

кровное, думает остановить неудержимое, готова вооружаться, например, даже на заведение почт². Все понятно в этой могучей, полной свежих сил и сознающей силы свои народности, которой так явно указывается провидением великая судьба начать истинно новую историю, дополнить в сумме приобретений человечества огромные пробелы, оставленные древнею и средневековою.

Веками сложилась эта народность, и в завещанных веками формулах перешло крепко сложившееся понятие к Посошкову. Стоя на самой вершине, которой достигло развитие этого понятия, утверждаясь на крепких основах быта, — Посошков, кроме того, смотрит сверху на самую вершину. И много причин было тому, что он смотрит сверху. Дотоле, то есть до времен Петра и Посошкова, — сверху в продолжение семивекового развития смотрела и могла смотреть на быт только церковь православная в лице своих великих представителей: только их требования стоят выше уровня действительности, но замечательно в высшей степени, что эти требования прививаются незаметно, постепенно и никогда не вторгаются насильственно, — хотя подобное отношение сверху явно с самого почти первого появления церкви на русской земле, — ясно видится в посланиях митрополита Никифора к Владимиру Мономаху, этому идеальному типу князя-нарядника и охранника общинного быта, которому, во имя своего взгляда сверху, церковь, в лице своего красноречивого и глубокомысленного представителя, придает византийское значение, — и поразительна огромная разница между понятиями Мономаха о самом себе, высказанными им в завещании, представляющем задушевную исповедь охранника и нарядника, который «утер много пота за русскую землю», исповедь служебной деятельности, исчисление трудов, поднятых на пользу земли, где князья и их варяги, вероятно, еще долго были призванные — «находницы», по выражению летописи, — и между теми понятиями, которые развивает в одном из двух посланий своих к нему глубокомысленный византийско-русский духовный мыслитель. Взгляд сверху очевидно, осязательно борется со взглядом непосредственным в летописцах: едва выразится он, например, увещательно и поучительно в прискорбном сетовании по поводу смерти «первого самовластца в русской земле» Андрея Георгиевича Боголюбского, как на следующей же странице изменит себе летописец своим не уходившимся еще и под монашескою рясою общинным и даже местным характером в рассказе о «мизинных людях володимерцах», которые одною правдою своею перемогли старые города Ростов и Суздаль, города, где «изначала» был такой же порядок, как у новгородцев, и «смольнян, и киян, и всех властей». Взгляд сверху, взгляд церковно-государственный долго идет извне — и болезненный процесс эпохи междуцарствия есть не что иное, как переход его внутрь, в плоть и в кровь сложившегося государственного организма: государственный организм замкнулся, дал отпор всему чуждому, постороннему и замкнул в себе тот самый взгляд, с которым боролись несколько веков народные местности, общины, междукняжеские и общинные безнарядицы. Этот-то взгляд перешел целною, со всем своим развитием, в Посошкова — он-то и есть идеальная сторона его мышления.

Паче же вещественного богатства, — говорит автор книги *«о скудости и богатстве»* в самом начале своего сочинения, — надлежит всем нам обще пешихся о невещественном богатстве, то есть

² «Да пожаловали они, прорубили из нашего государства во все свои земли диру, что вся наша государственная и промышленная дела ясно зрят. Диру ж есть сия: сделали почту, а что в ней великому государю прибыли, про то Бог весть, а колько гибели от той почты во все царство чинитца, того и исчислить невозможно. Что в нашем государстве ни зделается, то во все земли рознесетца; одни иноземцы от нее богатятся, а Русские люди нищают» (стран. 273) (примеч. Григорьева).

о истинной правде; правде — отец Бог, и правда вельми богатство и славу умножает и от смерти избавляет; а неправда отец диавол, и неправда не токмо вновь богатит, но и древнее богатство оттончивает, и в нищету приводит, и смерть наводит.

Сам бо Господь Бог рек: *Ищите прежде цаства Божия и правды Его; и прирече глаголя: яко вся приложатся вам*, то есть богатство и слава. И по такому словеси Господню подобает нам паче всего пещись о снискании правды; а егда правда в нас утвердится и твердо вкоренится, то не можно царству нашему Российскому не богатиться и славою не возвыситься. То бо есть самое царства украшение, и прославление, и честное богатство, аще правда, яко в великих лицах, тако и в мизирных она насадится и твердо вкоренится, и все, яко богати, тако и убозии, между собою любовию имут жить, то всяких чинов люди по своему бытию в богатстве довольни будут. Понеже правда никого обидеть не пропускает, а любовь принудит друг другу в нуждах помогати; и тако вси обогатятся, а царские сокровища со излишеством наполнятся; и аще и побор какой прибавочной случится, то не морщася платить будут. И аще великий наш монарх Петр Алексеевич, по данной ему от Бога благодати и по самодержавной своей власти, вся нижеписанная моего мнения предложения в бытие произвести повелит, то, я чаю, и без прибавочных поборов преизлище царская сокровища наполнятся» (стран. 2, 3).

Странная политическая экономия — ибо книга «о скудости и богатстве», по названию своему, естественно, должна иметь политико-экономическое содержание — которая хочет обогащать людей и государства посредством правды и любви! Странный взгляд — и мудрено ли, что этот *странный* взгляд, который доселе делит с Посошковым вся непосредственно мыслящая великая Русь, который вместе с ним наследовала она от всего своего прошедшего, убеждение в законности которого испила она в чаше спасения, предлагаемой церковью всем верующим и дерзающим, а способность к восприятию всосала с молоком матери, — мудрено ли, что этот *странный* взгляд не мирится, хотя доселе еще смутно, бессознательно и отчасти робко, — с требованиями другого, на другой почве выработавшегося взгляда, в котором эгоизм является принципом и двигателем машины общественного благополучия, в котором правда и любовь — суть нечто личное, вырабатываемое личным процессом, одним словом, сами по себе, а государство, общество тоже само по себе; в котором общественная жизнь есть, таким образом, чистый формализм, — в котором узаконена, возведена в науку двойственность внутреннего мира человека и общественного быта. Странный взгляд! и как ему, в самом деле, выстоять против взгляда формалистов, «хоть мы, благодатию Божиею, острою не хуже их, и они ругают нас напрасно...» Но еще *страннее* то, что формализм сам себя подорвал, сам собою недоволен, сам в наше время ищет и не находит точки соприкосновения внутреннего с внешним.

Выставим несколько наиболее ярких *странностей* этого взгляда, по скольку являются они в книге Посошкова.

К числу их принадлежит постоянное требование, чтобы дело было настоящим делом, а не формою. Это тоже *странное* требование так сильно, что оно во всякие времена смеется над формою без содержания, где ее ни подметит, хотя бы даже у своих образованных учителей. «Я сего не могу знать, — говорит, например, крестьянин Посошков на основании одной приглядки к ратному делу, — что то за повычай древний солдатской, что только одно ладят, чтобы всем вдруг выстрелить, будто из одной пищали: и такая стрельба угодна при потехе или при банкете веселом, а при банкете кровавом тот артикул не годится: там не игрушку надобно делать, а самое дело, чтобы даром пороха не жечь и свинцу на ветер не метать, но весь тот припас шел бы в дело, почто сошлись. Я много слышал от иноземцев похвалы такой, так-де жестоко билися, что в огне-де стояли часов с шесть и никто-де никого с места сбить не могли. И сия похвала немецкая — у них бы она и была; а нам дай Боже ту похвалу нажать: с русскими-де людьми биться нельзя; ежели-де единожды выпалят, то-де большую половину

повалят. И такая битва не в шесть часов, но в одну минуту» (стр. 37–38). Но нигде это требование *настоящего* дела в деле не проявляется с такою силою, как в отношении к суду. Другой, не странный взгляд выработал под влиянием римского права весьма тонкую философско-юридическую теорию о различии материальной и формальной истины — разделил или, лучше сказать, разрубил все юридические отношения на две сферы, — сферу отношений уголовных, в рассмотрении которых он по возможности доискивается материальной истины, и сферу отношений гражданских, в которых он совершенно довольствуется формальной, считая разыскание истины материальной нарушением прав частного произвола, составляющего душу, жизнь гражданского права, — узаконивая таким образом недоверие частного произвола к обществу, с одной стороны, и с другой, давая место обществу только как пугалу в отношении к частному лицу. Бесконечное множество процессов, бесконечная их продолжительность, наибольшее отдаление момента процесса, известного в науке римского права под названием *litis contestatio*³: развитие тонкого искусства говорить *ad libitum*⁴ *за и против*, развитие вполне узаконенное — все это явления желаемые в теории *не странного* взгляда, такие явления, в которых, говоря терминами теории — «отсвечивается идея личного, гражданского произвола», — явления, показывающие высшую степень развития гражданских отношений — факты, из узаконения которых и вытекает требование так называемой формальной истины. Оно, может быть, и так: так, по крайней мере, оно там было — не могла же теория возникнуть вне практики, — но не мирятся с этою теориею требования *странного* взгляда. Во-первых, на всякий суд, уголовный или гражданский, смотрит он как на дело царское и Божье, «понеже судья судит именем царским, а суд именуется Божий; того ради всячески судье подобает ни о чем тако не стараться, яко о правде, дабы ни Бога, ни царя не прогневати. Буде судья суд творит неправый, то у царя примет временную казнь, а от Бога вечную понесет. А буде судья поведает суд самый правдивый и нелицеприятный по самой истине яко на богатого, тако на самого убогого и бесславного, то от Царя будет ему честь и слава, а от Бога милость и царство небесное» (стр. 45). В непосредственной чистоте своей, требуя от правды — правды, этот взгляд видит, однако, всю трудность приложения к жизни своих требований. «Мой ум, — говорит Посошков, — не постигает сего, како бы прямое правосудие устроить», — ибо в самом деле требования эти не так легко осуществимы, как желаемые явления другого взгляда, ибо сей последний только раболепно узаконивает факты действительности: желание правды, если оно остается отвлеченным, не будет умерено любовью, то тотчас же выскажет всю свою жгучую, отрицательную натуру в тех или других жестких мерах отрицания неправды: так оно высказывается и в правдивой натуре Посошкова, и в голосе многих старых людей, который, как отец Петра Ильича в новой драме Островского, — прямо порешают обо всех идущих не по пути ими сознаваемой правды: «Таковым одна часть с бесами!» — или как Посошков о некоторых преступниках, что «таковому не надлежит живу быти ни суток, но из застенка вышед вершить его»... Но есть в жизни самой, в жизни народа, в его коренных верованиях крепко заложенное иное, высшее понятие, то понятие, которое самого ли Посошкова, другого ли читавшего его книгу заставило поправить порыв ревностного правдолюбца словами: «Осмотришься, старичок, и эту речь внемли! Несть грех побеждающ Божию человеколюбью!» — жизненное понятие старика Агафона в «Не так живи, как хочется», простирающее

³ Возражение на поданную в суде жалобу (лат.).

⁴ По усмотрению (лат.).

на все, даже на тварей, любовь и сострадание, — понятие, которое также может доходить до своего рода крайности, но которое глубоко укоренено в народе. Народ — менее всех других юридический, что и сознают смутно попрекающие его в прошедшем и в настоящем отсутствием юридического быта, не подозревая только, что этим произносят ему величайшую похвалу. Глубокомысленнейший из писателей нашего времени и самый пламенный из правдолюбцев, Гоголь — додумался до этого коренного свойства, разъяснил себе мыслию то, что Пушкин непосредственно, как сам народ, отметил в своей «Капитанской дочке» — и смело высказал в своей «Переписке» в письме о «Сельском труде и расправе», которое, как и вся книга, подверглось тогда глумлению и упрекам. «Судите, — говорит он в этом письме, — всякого человека двойным судом и всякому делу давайте двойную расправу. Один суд должен быть человеческий. На нем оправдайте правого и осудите виноватого... Другой же суд сделайте Божеский и на нем осудите и правого, и виноватого. Выведите ясно первому, как он сам был виновен, что другой его обидел, а второму — как он вдвойне виноват и пред Богом, и пред людьми. Одного укорите, зачем не простил своему брату, как повелел Христос, а другого попрекните, зачем он обидел самого Христа в своем брате. А обоим вместе дайте выговор за то, что не примирились между собою и пришли на суд, и возьмите слово с обоих исповедаться непременно попу на исповеди во всем. Вы извлечете оттуда для себя самого много добра и много прямых и правых познаний. Правосудие у нас может исполняться лучше, нежели во всех других государствах, потому что из всех народов только в одном русском заронилась эта верная мысль, что нет человека правого и что прав только один Бог. Эта мысль, как непреложное верование, разнеслась повсюду в нашем народе. Вооруженный ею, даже простой и неумный человек получает в народе власть и прекращает ссоры. Мы только, люди высшие, не слышим ее, потому что набрались пустых, рыцарски-европейских понятий о правде. Мы только спорим из-за того, кто прав, кто виноват; а если разобрать каждое из дел наших, придешь к тому же знаменателю: то есть оба виноваты. И видим, что весьма здраво поступила комендантша в повести Пушкина «Капитанская дочка», которая, пославши поручика рассудить городского солдата с бабою, подравшихся в бане за деревянную шайку, снабдила его такою инструкцией: «Разбери, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи»» («Переписка» с друзьями», — стр. 187, 188)... Но то, до чего Гоголь додумался, и додумался болезненным процессом, что вследствие этого и выразил он в формулах несколько резких, то весьма просто выражается в непосредственном народном взгляде, слившемся с той незыблемой основой, которая утвердилась крепко на почве, так чудно приготовленной к ее восприятию: та же мысль, но не в виде чего-либо умом постигнутого, не в виде чаяния, в каком являются большею частию у Гоголя все коренные великорусские созерцания, — видна у Посошкова, у народа, везде, где Посошков — народ, где жесткая правда не увлекает его к жестким отрицательным мерам. «И егда кто богатый или самый убогий челобитную о обиде своей или и в каковом ни есть случае подаст, то, по моему мнению простотному, надлежит ее судье принять, и заметить число подачи, и к записке ее в протокол не отдавать, и самому судье вычести ее со вниманием и чтоб чтенное памятовать. И высмотря челобитную в тонкость, взять того челобитчика в особое место и спросить его сие: «Друже! подал ты челобитную о обиде своей, право ль ты на него бьешь челом?» И аще он речет самую правдою, то надлежит ему молвить: «Господа ради сам ся осмотри ты, чтобы тебе не впасти в напасть и в великой убыток, паче же убытку в грех не впади; чтобы тебе во второе Христово пришествие праведным Его судом осуждену не быть», и сказать: «Мы судим овогда право, овогда же и не право; понеже мы не сердцеведцы, а тамо

не наш гнилой суд будет, но самый чистый и здоровый, и всякая ложь и правда будет явна, и не токмо большие дела, но и самая малая крупина будет обнажена, понеже сам сердцеведец Бог имат судити... И аще ты сего человека изубыточишь напрасно и на нашем суде аще и прав будешь, а там оправдание наше будет тебе в большое осуждение, буде напрасно его изубытчишь, а и нас на грех приведешь. И аще ты сам перед ним чем виновен и, надеясь на свою мочь, потолочишь его, то уже самое горшее осуждение приимеши. И аще тогда и каятися будешь, да ничего себе не поможеш; и того ради ныне осмотришь, дабы тебе в вечную погибель не вринутися. *Кто пред Богом не грешен, и кто перед царем не виновен?* Такожде и между собою, как бы в чем не поссоритися, *Господа ради, не входи в большую ссору, не приложи болезни к болезни* и суперника своего не вводи в большой убыток. Если ты и прав будешь, то не без убытку тебе будет; а если же да не прав будешь, то его изубытчишь, а себя и наипаче в великую напасть ввалишь: понеже все убытки его, что он ни скажет, бессрочно доправлено на тебе будет, да в казну заплатишь пошрины, а приказным людям дашь заработныя деньги. *Пойди себе с добрыми людьми подумай, и как ни есть, хотя на себя поступа, а лучше помирись»* («Сочинения» Посошкова», стран. 51, 52).

Странный опять-таки суд — скажешь поневоле, имея в виду другой, не странный, взгляд, который строго разграничивает уголовный процесс от гражданского и всякое вмешательство общественного элемента в последний называет нарушением прав частного произвола, который радуется бесконечному развитию гражданских отношений — ибо чем разнообразнее их путаница, тем богаче и полнее наука гражданского права, тем утонченнее развивается юридическая диалектика, тем могущественнее по влиянию адвокатура. Взгляд же Посошкова, взгляд народа, весьма грубо относится и к разнообразию гражданских отношений, выражаясь несколько насмешливо: «Я не знаю, что в сем за краса, что так в канцелярию челобитчиков натеснится, что до судьи и дойти не мочи» (стр. 65), а о тонкой диалектике гражданских споров замечает: «Аще кто умно будет разговаривать, то на тонкостных словах можно познать, правду ль сперва сказал или неправду, и буде признается в нем вина, то надлежит его и наипаче присудить с великим преступлением, *чтоб он помиловал себя* и помирился» (стр. 53). Этот взгляд сознается прямо, что «умом не постигает, как бы прямое правосудие устроить», чувствуя только законность своих требований, он робок в приложениях. «Токмо не без страха есмь о сем, — говорит этот взгляд в лице своего представителя, — еже аз весьма мизирен и учению школьному неискусен, и како по надлежащему достоин писать, ни следа несть во мне, ибо самый простец есмь» (стр. 46). Он является еще, так сказать, как мать родила, в первобытной наготе, не вооруженный наукою, но и без науки он уже сильнее другого взгляда тем, что в сущности его не лежит той страшной двойственности, которая в наше время подорвала все основы последнего, как ни укрепляла их наука — ибо наука исходит из жизни, а не создает же жизнь, не сообщает прочности тому, что гнило в самом основании.

В самом Посошкове, одном из замечательнейших представителей этого взгляда, — дорога именно непосредственность, и притом опирающаяся на незыблемые основы учения церкви, — дороги те места, когда, по его словам, он, «возложився на Божию волю, — дерзает мнение свое изъяснити простотным письмом». Взгляд его сверху выше этого непосредственного только тогда, когда высота их есть высота церковного учения: во всех других случаях реформаторские его проекты или не выше требований его эпохи в Европе, требований, которые были весьма невысоки: так, уголовные его теории — не простираются далее несчастной теории устрашения, умеряемой только гораздо вышею их

непосредственностью; или односторонни, — как все чисто личные стремления к правде, и ведут к какому-то государственному и моральному китаизму, — или поистине превосходны и неоцененны только тогда, когда возникли из непосредственных, действительных опытов, — когда, одним словом, суть взгляды снизу, а не сверху.

Нигде эта реформа снизу, на основании насущных требований действительности, требований, подкрепленных всем прошедшим, не является у Посошкова с такой блистательной стороны в сравнении со всеми взглядами сверху и в сравнении с тем, что мы называем не странным взглядом, как в рассуждении о составлении законодательства — или, что, может быть, понятнее будет для последователей не странного взгляда, в вопросе о кодификации. Стоит только припомнить, какую вопиющую потребность представляют кодификации для Европы с начала XVIII столетия, — чтобы *оценить* надлежащим образом ту праздную юридическую софистику, какую знаменитый Савиньи противопоставлял поборникам кодификаций. Хоть и неловко несколько касаться вопроса, по видимому, чисто юридического в литературной статье, но в этой статье мы имеем дело по преимуществу с народной сущностью и уловляем черты ее где ни попало, в той надежде, что запас немногих наших наблюдений и размышлений наведет других на наблюдения более меткие и размышления более систематические. Законодательство Европы представляло, а кое-где, как в Англии, до сих пор представляет — хлам развалин прошлого, поросших мхом, с новыми постройками и пристройками, смесь отживших средневековых форм исторических с формами более или менее личными, смесь не разобранную, хаотическую, приводившую в отчаяние бесконечным разнообразием местностей. Поднялся необходимо вопрос, как поступить с этим хаосом? Уважить ли в нем местное и историческое — и ждать, пока наука, объяснив историческое, дойдет до единого корня многообразных наростов: сущность рассуждений исторической школы, — но ведь жизнь-то не ждет, а жизни нужны — закон и знание закона, как хлеб насущный — или поступить с гордиевским узлом по-александровски, пожалуй, по-наполеоновски — оставить развалины и построить новое здание? Вопрос жизненный и представляющий одну из сторон великого вопроса, который разрешал XVIII век — на Западе... Но если жизнь не ждет и если практическое решение не могло быть иное — как построить новое здание, то, во-первых, на каких же основах его построить? Принять ли за *gemeines Recht*⁵ римское право? но в руках цивилистов — оно сделалось только юридической логикой, юридической диалектикой, оторвалось от всякой почвы, — или личные теории некоторых мыслителей, или одну личную волю законодателя? А во-вторых — разве пренебреженные местности, разве исторические отработки — не оживут, не отпрыгнут в час своего разрушения?.. Хоть они и поросли мохом, но в них таится жизнь посильнее жизни личной мысли или диалектической жизни — и целый ряд тех или других реакций неминуемо должен воспоследовать, и отрывки болезненного организма приведут его еще в более неправильное состояние... А между тем неведение закона есть самое важное из зол государственных — и сердцем будешь всегда скорее на стороне мыслителей, которые, как Тибо, придумывают те или другие меры, реформы, чем на стороне софистов, которые диалектически забавляются страшною путаницей и советуют ждать всего от науки — а с другой стороны, в сердце же найдут себе защиту и сожаление пренебреженные местности и поросшие мхом прошедшего исторические отработки! Странное и безвыходно трагическое положение.

⁵ Общее право (нем.).

Но там, где жизнь не раздвоилась, где прошедшее живет в настоящем, где постоянно проходят одни и те же начала, — там, где в правдах, уставах, грамотах, судебниках вырастала одна и та же мысль, воплотясь, наконец, в истинно-земское уложение, там, где дело о разъяснении закона порешилось простейшим образом — составлением свода, в который вошло все прошедшее, уцелевшее в настоящем, — там, естественно, рассуждается не о том, какой закон поставить, а как *усудить*, — и порешается вопрос весьма простым требованием одной ясности: «А надобно так его усудить, — говорит Посошков, — чтоб и не весьма смышленный судья мог право судить». Самый закон все знают, как бы он разнообразен ни был, в том смысле, как знает всякий русский человек всякую пословицу, какова бы она ни была, то есть слыша ее, припоминает, узнаёт за родную, за знакомую — ибо все наши юридические положения выросли, за исключением тех, которые привились и большею частью не устояли, — из обычаев доселе уцелевших — но этот всем известный закон надобно усудить до такой степени ясности, «чтобы и не весьма смышленный судья мог право судить». Ясно, что так усудить может не личная теория, а сам народ: ясно поэтому и все рассуждение Посошкова, в котором он простотою взгляда, совершенно народного, стоит несравненно выше всей своей эпохи. На странице, предшествующей этому рассуждению, он, тоже по простоте, заплатил дань духу своей эпохи; во имя взгляда сверху он только что советовал выбирать статьи из немецких и даже турецких судебныхников. И засим, сам не подозревая, вероятно, внутреннего противоречия в самом себе, он продолжает:

И к сочинению тоя судебныя книги избрать человека два или три из духовного чина, самых разумных и ученых людей, и в Божественном писании искусных, и от гражданства, кии в судебных и во иных правительных делах искусны, и высокого чина, *кои не горды и ко всяким делам нисходительны*, и от иных чинов, *кои невысокоумны*, и от приказных людей, кои в делах разумны, и от дворянства, кии разумны и правдолюбны, и от купечества, кии во всех делах перебыли б, кии и от солдат смышлены, *и в службах и в нуждах натерлися* и правдолюбивые, из людей боярских, кии за дела ходят, и из фискалов. А мнится мне: не худо б выбрать из крестьян, кои в старостах и сотских бывали и во всяких нуждах перебивали б, и в разуме смысленные. *Я видал, что и в мордве разумные люди есть, то как во крестьянх не быть людем разумным?*

И написав тыи новосочиненные пункты, всем народом освидетельствовать самым вольным голосом, а не под принуждением, дабы в том изложении как высокородным, так и низкородным, и как богатым, так и убогим, и как высокочинцам, так и низкочинцам и самым земледельцам, обиды бы и утеснения *от недознания коегождо их бытия* в том новоисправленном изложении не было.

И написав совершенным общесоветием, предложить Его Императорскому Величеству, да рассмотрит его умная острота. *И кии статьи Его Величеству угодны, то те тако да и будут; а кии непотребны, тыи да извергнутся, или исправить по пристоинству надлежащему. И сие мое речение многие вознепшуют, якобы из Его Императорского Величества самодержавную власть народосоветием снижаю; аз не снижаю Его Величества самодержавия, но ради самыя истинныя правды, дабы всякий человек осмотрел в своей бытности, нет ли кому в тыих новоизложенных статьях каковыя непотребныя противности, иже правости противны.* И еще кто узрит какую неправостную статью, то бы без всякого сомнения написал, что в ней неправость, и ничего не опасаяся, подал бы ко исправлению тоя книги; *понеже всяк рану свою в себе лучше чует, нежели в ином ком.* И того ради надобно всяким людям свои бытности выстеречи, дондеже книга не совершится; а егда она совершится, то уже никто не может помочи; того бо ради и дана свобода, дабы последи не жаловались на сочинителей тоя новосочиненныя книги. *Того-то ради надлежит ю вольным голосом и свидетельствовать, дабы всякая статья ни от кого порочена не была, но всяк бы себя выстерег, и чтоб впредь никому спорить было не мочно, но в веки веков было бы не нарушимо оно.*

Правосудное установление самое есть дело высокое и надлежит его так рассмотрительно состроить, чтобы оно ни от какого чина не збылемо было. *И того ради без многосоветия никоими делы не возможно; понеже Бог никому во всяком деле одного совершеннаго разумия не дал, но разделил*

в малые дробинки, коемуждо по силе его: овому дал много, овому ж менее. Обаче нет такого человека, ему же бы не дал Бог ничего; и что дал Бог знать малосмысленному, того не дал знать многосмысленному; и того ради и самому премудрому человеку не надлежит гордиться и умом своим возноситься; и малосмысленных ничтожить не надлежит, коих в совет призывать надобно; понеже малосмысленными человеки многаиц Бог вещает, и того ради наипаче ничтожить их душевредно есть; и того ради в установлении правосудия весьма пристойно исследовать многонародным советом («Соч^{инения} Посошк^{ова}», стран. 76, 77, 78).

(Продолжение в следующей книжке, а до окончания еще весьма далеко.)

об Островском?» (Григорьев. Письма. С. 86). Статья действительно была запрещена цензурой. Цензор В. П. Флеров не считал возможным разрешить ее сам. Он выделил в гранках (см.: РГИА. Ф. 772. Оп. 1. № 3611) и предназначал к сокращению следующие фрагменты, подчеркнутые простым карандашом:

- С. 555. ...и от нерассмотрительного правления ~ неправда весьма застарела...; *на полях приписка*: Все это относится до того времени, в которое это написано, а именно до Петровского времени
С. 555. ...на веру должны принимать то, что говорит... — *и местоимение*: ...который...
С. 555–556. Мы увидим, как строго и сурово оно, увидим, как...
С. 556. Им начинается ~ Грибоедова, Гоголя.
С. 556. ...хотя бы и *не без урону*, употребляя выражение Посошкова...
С. 562. Другой, не странный взгляд ~ требования *странного* взгляда.
С. 563. Мы только, люди высшие ~ *понятий о правде*.
С. 563. Но то, до чего Гоголь додумался ~ та же мысль, но...
С. 564. *Странный* опять-таки суд ~ могущественнее по влиянию адвокатура.
С. 564. Он является еще ~ что гнило в самом основании.
С. 565. ...трагическое..., *рядом приписка*: грустное, если угодно автору
С. 566. ...но этот всем известный ~ сам народ...
С. 566–567. На странице, предшествующей ~ стран. 76, 77, 78.

Цензор также вставил между словами «большую часть» и «у Гоголя» слово «наприм<ер>» (с. 563) и вычеркнул слово «и» перед словами «все рассуждение». Гранки содержат ряд пунктуационных и грамматических исправлений простым карандашом, по большей части призванных сделать исключения Флерова незаметными. Остается неясным, кому принадлежат эти исправления: цензору или автору. По крайней мере, одно из них, возможно, имеет авторский характер: слово «по-александровски» исправлено на «как Александр Македонский» (с. 565). Цель правки, очевидно, избежать двусмысленности: в связи с упоминанием Наполеона можно было подумать, что речь идет о российском императоре Александре I. Флерова особенно беспокоила возможность найти в статье Григорьева злободневные политические аллюзии. Так, рассуждения автора о римском праве казались ему применимыми и к российскому законодательству, а параллель между Посошковым и Гоголем свидетельствовала, по мнению Флерова, о приложимости обличительных суждений Посошкова к современной России (см.: РГИА. Ф. 772. Оп. 1. № 3611. Л. 1–2 об.). 17 мая 1855 г. по докладу Флерова статью рассматривал Московский цензурный комитет, затруднившийся принять решение и направивший ее в Главное управление цензуры. 9 июня Главное управление отослало статью на рассмотрение чиновнику особых поручений при министре народного просвещения Е. Е. Волкову (см.: Там же. Л. 13–13 об.). 7 июля рапорт Волкова поступил в Главное управление. В нем он выразил несогласие с Флеровым: «Нельзя никак допустить, чтобы его <Посошкова> замечания, мысли и советы могли быть применены к нашему времени...» (Там же. Л. 14 об.). Более того, по мнению Волкова, статья Григорьева ни при каких обстоятельствах не могла представлять опасности в силу своего крайне неясного изложения: «Самая же статья г. Григорьева, хотя и предназначена для литературного журнала, по своему неудобопонятному изложению, переполненному выписками из Посошкова, — кроме наборщика и корректора, едва ли найдет себе других читателей» (Там же. Л. 14 об.). Волков полагал, что следует исключить лишь 3 места (см.: Там же. Л. 15), а именно:

- С. 556. ...вере по существу своему ~ в столь же высшее положение...²
С. 557. ...где явно царь жалует, да псарь не жалует...;
С. 566. И сие мое ~ аще кто узрит...³

Указанные фрагменты Волков вычеркнул красным карандашом в гранках. Помимо этого, цензоры вступили в своеобразную полемику об оформлении библейских цитат. В тексте Посошкова, опубликованном Погодиным, после слов: «богатство и слава» (с. 561) следует ссылка: «Матф. гл. 6, ст. 33». Григорьев снял эту ссылку (см. о возможных причинах ниже, с. 845). Флеров пометил на полях: «Здесь должно быть указание Еванг<елия>, главы и стиха». Волков, не зная оригинального текста Посошкова, возразил Флерову: «Это выноска, в которой нельзя прибавлять». Несмотря на защиту Волковым Григорьева от политических обвинений, его оценка статьи была невысока: «...литература наша нисколько не потеряет, а также ничего не потеряют и читатели

² По мнению Волкова, «...вера <...> никогда не может быть жгучей, сухой и тревожной...».

³ В этом фрагменте Волков усмотрел намек на конституционные идеи.

журнала “Москвитянин”, если статья г. Григорьева вовсе не появится в печати. Трудно догадаться, к чему и для какой цели г. Григорьев <...> поместил такое множество выписок из Посошкова? не сказав ни слова о самых комедиях, и только всего один раз упомянув имя г. Островского! <...> Какое кому дело знать, что в записках Посошкова г. Григорьев открыл воззрения на жизнь и людей, сходные с таковыми же воззрениями героев в комедиях Островского <...>? Надо полагать, что г. Григорьеву нечего более делать, как сочинять подобные умозрительные статьи...» (РГИА. Ф. 772. Оп. 1. № 3611. Л. 15–15 об.). Схожего мнения о статье придерживался и автор приписки на первой странице гранок: «Сочинитель сказал неправду, — это не разбор комедий Островского, а это комедия г. Григорьева!» (Там же. Л. 3; по мнению Н. П. Барсукова, приписку сделал Л. В. Дубельт — см.: Барсуков. Кн. XIV. С. 238–240; выражение почти дословно повторяет оценку Галаховым статьи «Русская литература в 1851 году», см. наст. изд., с. 250–251). Однако 14 июля Главное управление рассмотрело статью и «нашло <...> многие выписки и суждения неуместными в журнале литературном, и всю вообще статью, по направлению ее, признало неодобрительною по правилам цензуры, почему и определило: не позволять статью к напечатанию» (РГИА. Ф. 772. Оп. 1. № 3611. Л. 19). Трудно предположить, что столь резкий довод был основан на слабости статьи в литературном отношении, — скорее всего, цензоры, вопреки мнению Волкова, все же усмотрели в ней политически крамольные идеи.

Впервые о статье Григорьева упомянул Барсуков (см. выше). Обнаруживший и опубликовавший ее гранки Спиридонов не стал объяснять своеобразие статьи, действительно не похожей на другие литературно-критические сочинения Григорьева. Р. Виттакер фактически согласился с суждениями Волкова: «Суждение цензора было не без рационального зерна: пространное рассуждение о народности не способствовали пониманию национальной самобытности русской литературы. Григорьев слишком далеко отошел от основного предмета и пытался разъяснить явления, которые сам понимал не до конца» (Виттакер. С. 150).

Статья формально является второй частью работы «О комедиях Островского и их значении в литературе и на сцене», однако отличается от нее и тематикой, и построением. Уже цензор Волков заметил, что наиболее характерная особенность статьи Григорьева — огромное количество пространных цитат из Посошкова и русских путешественников XVII в., зачастую подменяющих текст автора и напрямую не связанных с заявленным в качестве основной проблемы творчеством Островского. При этом Григорьев отбирает цитаты по нескольким ключевым темам: отношения России и Запада, русское право и судопроизводство. Собственный текст Григорьева служит лишь комментарием к тексту Посошкова и др. Вероятно, основной темой статьи можно назвать именно общественно-политические проблемы, по которым Григорьев делает выписки. Как и в предыдущей статье, Григорьев цитирует Посошкова по изданию М. П. Погодина (1842). В тексте гранок все эти цитаты содержат огромное количество самых разнообразных разночтений с источником, преимущественно касающихся написания отдельных слов. В сохранившемся фрагменте автографа, однако, эти мелкие разночтения почти полностью отсутствуют, за исключением немногочисленных случаев «осовременивания» Григорьевым орфографии Посошкова. Очевидно, значительная часть разночтений — результат невнимательности наборщика при работе с написанным архаичным языком текстом Посошкова. Все эти разночтения, за исключением случаев осовременивания орфографии, исправлены в наст. изд. без оговорок. Без оговорок исправлены и многочисленные неточности в указанных Григорьевым номерах страниц, на которых помещены цитируемые им фрагменты. Сохранено ошибочное написание «от Кольского острова» (наст. изд., с. 559; вместо: острога), поскольку оно заимствовано Григорьевым из погодинского издания (см.: Спиридонов В. С. Островский в оценке Григорьева. С. 193). Некоторые различия, однако, не могут быть объяснены невнимательностью наборщика и Погодина, тем более что последнее из них встречается и в григорьевском автографе. Нельзя объяснить их и ошибкой автора, поскольку они явно подчинены сознательному намерению:

Вместо: «...с тех пречистых икон» (с. 557) в оригинале — «с тех пречистых и святых икон»;

После: «...богатство и слава...» (с. 561) пропущена ссылка на Евангелие (см. выше, с. 843);

Вместо: «Я много слышал от иноземцев похвалы такой...» (с. 561) в оригинале — «Я много слышал от иноземцев военных похвалы такой»;

Вместо: «...а от Бога вечную понесет» (с. 562) в оригинале — «...а от Бога вечную, не токмо на теле, но и на душе казнь вечную понесет»;

После: «...понеже сам сердцедевец Бог имат судити...» (с. 564) многоточием заменено страннейшее рассуждение о Страшном суде;

Вместо: «...без многосоветия никоими дела не возможно...» (с. 567) в оригинале — «без многосоветия и без вольного голоса никоими дела не возможно».

Устранение упоминаний о «вольном голосе» и, возможно, об «иноземцах военных» (последнее могло звучать чрезмерно явным намеком на события продолжавшейся Крымской войны) — явный результат автоцензуры. Остальные же примеры свидетельствуют о стремлении Григорьева уменьшить долю сугубо религиозной проблематики — возможно, не только из опасений вмешательства духовной цензуры, но и с целью подчеркнуть политический характер статьи. Также Григорьев явно упрощает неясное место: вместо «купя выпить да выблевать или приняв разбить и бросить» в оригинале был не до конца разобранный Погодиным фрагмент: «...нам бы то их пить выпить, да <...> а иное и выблевать; да привозят к нам стеклянную посуду, чтоб нам, купив, разбить да бросить» (*Посошков*. С. 124).

Цитаты из многочисленных посольских донесений XVII в. Григорьев часто будет приводить и в более поздних своих статьях «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (Русское слово. 1859. № 2, 3) и «Народность и литература» (Время. 1861. № 2), как проявление чисто русского «отрицательного» начала, еще не способного к пониманию чужого народа, но наделенного чувством собственного достоинства. К этим донесениям Григорьев прибавит еще и письма Д. И. Фон-визина с сатирическим описанием Европы (см.: *Григорьев*. С. 170–171; *Григорьев*. *Эстетика*. С. 183); посольство Лихачева упоминается также в рассказе Григорьева «Великий трагик» (1859).

Обилие различных цитат в статье отчасти объясняется попыткой скрыть ее актуальный политический смысл, однако одновременно относится к типичным приемам аргументации Григорьева, особенно часто используемым в поздней его критике. Григорьев пытался апеллировать к укорененным в русской истории началам, которые, по его мнению, уже неоднократно высказывались в различные исторические эпохи и, следовательно, могут считаться выражением мировоззрения русского народа в целом. Точно так же статья о праве, судопроизводстве и отношениях России с Западом могла, в глазах Григорьева, одновременно быть статьей о пьесах Островского (как и первая часть статьи «О комедиях Островского...», она продолжает его спор о драматургии с «петербургскими» журналистами), поскольку эти пьесы, по его мнению, выражали чаяния русских людей. Именно это, судя по всему, видел своей целью и сам Григорьев, подчеркивавший, что цель его сочинения — выражение не личного мнения, а голоса всего русского народа, не изменившегося с летописных времен.

Статья написана, когда Россия была в крайне напряженном внешне- и внутриполитическом положении. Работа над нею была завершена в 20-х числах февраля (см. выше, с. 842). 18 февраля скончался Николай I. Положение дел в Крыму, где продолжалась оборона Севастополя, вызывало у современников все большее беспокойство. В этой ситуации рассуждения о современной России, даже вложенные в уста Посошкова, воспринимались как очень злободневные. Возмущенные замечания Посошкова о «немцах», например, могли ассоциироваться с вызвавшей негодование политикой Австрии и Пруссии, отказавшихся поддержать Россию в Крымской войне. К тому же, эта фраза могла напомнить о поведении министра иностранных дел К. В. Нессельроде, которого, как немца и сторонника проавстрийской политики, часто обвиняли в прямой измене — ср., например, запись от 4 декабря 1854 г. в дневнике В. С. Аксаковой, где Нессельроде охарактеризован как «австр<ийский> агент» (*Аксакова В. С. Дневники. Письма / Сост., подг. текста, вступ. и сопровод. ст., коммент. Т. Ф. Пирожковой. СПб., 2013. С. 99*). Более важными в контексте продолжавшейся войны, которая большинством современников трактовалась как противостояние Запада и России, были общие рассуждения Григорьева, ссылавшегося на Посошкова и других авторов, о глубинном преимуществе России перед Европой, а в особенности соображения Посошкова о том, что возможно каким-то образом привлечь все слои народа к составлению новых законов, не умаляя при этом значения самодержавной власти. Недовольство русского общества положением дел в стране, выросшее во время неудачной войны, приводило к всеобщему желанию реформ. Григорьев в своей статье, по сути, предлагал способ провести такие реформы, при этом не обращаясь к помощи дискредитировавшей себя бюрократии, которая современникам казалась чуждой русскому народу («немецкой» — ср. репутацию того же Нессельроде), и не прибегая к революционным общественным преобразованиям наподобие введения конституции и ограничения самодержавия. Предложенная Посошковым «реформа снизу» (с. 565), конечно, воспринималась как прямая рекомендация правительству по поводу порядка проведения назревших изменений в государственном устройстве и законодательстве.

Наиболее близка концепция Григорьева к «Историко-политическим письмам» Погодина, сочинявшимся и распространявшимся в рукописях во время войны, причем некоторые из них писались незадолго до сочинения Григорьева, а некоторые — сразу после него. Как и Григорьев, Погодин плохо относился к действиям русских бюрократов, в особенности Нессельроде и его подчиненных: «Прилетай, Непирова бомба, — ты, верно, по закону Немезиды упадешь в министерство иностранных дел! Как мы будем благодарны тебе!» (*Погодин М. П. Историко-политические письма и записки в продолжение Крымской войны. 1853–1856. М., 1874. С. 191*). Как и Григорьев,

Погодин предлагал проводить преобразования, опираясь на союз царя и всех сословий: «Старые формы распоряжений, отношений, назначений, отчетов, всего делопроизводства обветшали, оказываются недостаточными, и в новых обстоятельствах должны быть приискиваемы новые средства спасения. <...> К числу таких новых средств осмеливаюсь напомнить на одно самое старое — земскую думу: пусть велит Государь прислать к нему из больших, средних и мелких людей добрых и умных людей, с кем о земском деле говорить, — и все русские люди авось подымут поникнувшую свою голову, разверзут уста, прильпнувши к гортани, посоветуются между собою искренно и любовно и представят Царю по древнему обычаю откровенные мнения о всех современных вопросах, внешних и внутренних, а Царь решай, как Бог ему на сердце положит» (Там же. С. 314–315). Идея созыва земской думы явно близка венчающему статью Григорьева рассуждению Посошкова о том, что законы нельзя менять без учета мнений представителей всех сословий. Погодин особо подчеркивал, что такой путь возможен исключительно для России, обладающей преимущественно перед Европой: «На Западе господствует подозрение и опасение, у нас доверенность. Западные сословия питают одно к другому ненависть, а наши не имеют никаких сословных предубеждений» (Там же. С. 254). Примечательно, что враждебность Погодина к Западу выражалась почти теми же словами, что и враждебность Посошкова. Как и мыслитель петровских времен, Погодин предлагал по возможности не иметь к Западу отношения: «Откажемся от всех произведений западной холодной изобретательности. Чтоб ни одна нога не заносилась в иностранные магазины: полно платить нам по десяти четвертей пшеницы за одну пару башмаков или перчаток и по сту пудов сала или пеньки за одну вышитую косынку. Полно бросать золото и серебро за ветроглennые ткани и букетные вина» (Там же. С. 335). В отличие от одного из первых панславистов Погодина, пространно описывавшего возможную роль славян в российских преобразованиях и конфликте с Западом, Григорьев не уделяет никакого внимания другим народам. Характер предлагаемой им реформы состоит в привлечении к государственному управлению не всего российского общества, а только русских. Идея Григорьева связана с общей эволюцией воззрений «молодой редакции» во время Крымской войны. В отличие от сочинений Погодина и Шевырева, Григорьев отнюдь не сводит национальную специфику русского народа к «всеотзывчивости», «смирению» и прочим атрибутам. В статье явно намечено представление о внутренней противоречивости национального начала, содержащего «положительный» и «отрицательный» элементы. В более поздних статьях Григорьева эти идеи будут развиты в своеобразной диалектике «смирного» и «хищного» типов, взаимодействие которых, по мнению критика, обеспечивает возможность внутреннего саморазвития русской жизни.

Критика Григорьевым Запада далеко не во всем схожа с позицией Погодина: Григорьев осуждает Европу за глубоко скрытую в самом основании общественного механизма и мировоззрения раздвоенность и бесчеловечность: «...эгоизм является принципом и двигателем машины общественного благополучия, <...> правда и любовь — суть нечто личное, вырабатываемое личным процессом, одним словом, сами по себе, а государство, общество тоже само по себе; в котором общественная жизнь есть, таким образом, чистый формализм, — в котором узаконена, возведена в науку двойственность внутреннего мира человека и общественного быта» (с. 561). По всей видимости, подобные рассуждения связаны с влиянием на Григорьева славянофильской мысли, в особенности статьи И. В. Киреевского «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» (Московский сборник. М., 1852. Т. 1), одного из наиболее критичных по отношению к Европе выступлений славянофилов. Сочинение Киреевского вызвало критику самих славянофилов (см. коммент. Ю. В. Манна в кн.: *Киреевский И. В.* Критика и эстетика. М., 1979. С. 418–419; ср.: *Цимбаев Н. И.* Славянофильство: Из истории русской общественно-политической мысли XIX века. М., 1986. С. 180). Киреевский, как и Григорьев, осуждает раздвоенность и противоречивость в духовной и общественной жизни Запада и, что особенно важно, обращается к вопросам истории права: «Между тем как римско-западная юриспруденция отвлеченно выводит логические заключения из каждого законного условия, говоря: *форма — это самый закон*, — и старается все формы связать в одну разумную систему, где бы каждая часть, по отвлеченно-умственной необходимости, правильно развивалась из целого и все вместе составляло не только разумное дело, но *самый написанный разум*, — право обычное; напротив того, как оно было в России, вырастая из жизни, совершенно чуждалось развития отвлеченно-логического. Закон в России не изобретался предварительно какими-нибудь учеными юрисконсультами, не обсуживался глубоко-мысленно и красноречиво в каком-нибудь законодательном собрании и не падал потом, как снег на голову, посреди всей удивленной толпы граждан, ломая у них какой-нибудь уже заведенный порядок отношений. Закон в России не сочинялся, но обыкновенно только записывался на бумаге, уже после того, как он сам собою образовался в понятиях народа и мало-помалу, вынужденный необходимостью вещей, взошел в народные нравы и народный быт. Логическое движение законов может существовать только там, где самая общественность основана на искусственных

условиях, где, следовательно, развитием общественного устройства может и должно управлять мнение всех или некоторых. Но там, где общественность основана на коренном единомыслии, там твердость нравов, святость предания и крепость обычных отношений не могут нарушаться, не разрушая самых существенных условий жизни общества» (Киреевский И. В. Критика и эстетика. С. 280; см. об отношении славянофилов к праву: Цимбаев Н. И. Славянофильство. С. 146–147). Практически все выраженные в приведенном фрагменте идеи Киреевского находят соответствие и в статье Григорьева: это и осуждение западного формализма и логицизма, и убежденность в необходимости органически выросшего на родной почве закона, и убеждение, что именно в России «жизнь не раздвоилась, <...> прошедшее живет в настоящем» (наст. изд., с. 566). Киреевский при этом прямо ссылается на послужившую одним из источников статьи Григорьева (см. ниже, с. 848, 851) «Историю русской словесности» Шевырева, которая должна «произвести решительный переворот в общем понимании нашей древней образованности» (Киреевский И. В. Критика и эстетика. С. 275). В 1855 г. общественная программа славянофилов была очень близка к погодинской: если Погодин призывал созвать «земскую думу» (см. выше), то А. И. Кошелев послал только что взошедшему на престол Александру II записку с предложением созвать выборных для обсуждения государственных вопросов (см.: Цимбаев Н. И. Славянофильство. С. 191–192). К. С. Аксаков постоянно обращался к вопросам самоуправления, считая идеальной моделью России XVII в. с ее совмещением самодержавия, боярской думы и земских соборов (см.: Walicki A. W kręgu konserwatywnej utopii: Struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. Warszawa, 2002. S. 182). Аксаков, как и Григорьев, был уверен, что «общинное» самоуправление не противоречит единовластию, хотя выражал эту идею на материале древней славянской семьи: «Да и кто мешал семейной общине свободно и любовно исполнять волю отца?» (Аксаков К. С. О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности (по поводу мнений о родовом быте) // Московский сборник. М., 1852. Т. 1. С. 97–98). Хотя большинство его сочинений о земских соборах и не было опубликовано к середине 1850-х гг., Григорьев мог знать об их существовании. Должен был Григорьев помнить и эффектное выражение: «Дружина князя <...> получила постоянный смысл, собственно с князем связанный, и наконец явилась боярская дума <...> в соответствие с нею, как общее народное, русское, или, лучше, великорусское вече, явилась дума земская, или земский собор, поглотивший в минуту своего собрания бояр и всех служивых людей» (Там же. С. 112). Таким образом, предложения Григорьева ввести «многосоветие» могли восприниматься как выражение политической программы, близкой и Погодину, и славянофилам.

Проблема права и составления законов в статье не исчерпывается влиянием идей Киреевского. Выпускник юридического факультета Московского университета, Григорьев мог вполне самостоятельно судить об этих вопросах. Из университетских преподавателей юридических дисциплин самое сильное впечатление на него произвел, судя по всему, Н. И. Крылов, который даже приглашал Григорьева-студента пить чай (см.: Фет А. А. Ранние годы моей жизни // Григорьев. Воспоминания. С. 319). Отзывы Григорьева о Крылове свидетельствуют о неоднозначном отношении к его личности — ср. письмо к Погодину (апрель 1857 г.): «Глубокий и оригинальный ум, диалектика могущественная и ядовитая, гениальные, хотя слишком своеобразные идеи; гениальные прозрения даже в то, чего он не знает, в русскую историю — но <...> отсутствие всякой способности служить мысли до самопожертвования — своекорыстное стремление к обеспеченному спокойствию, трусость и вследствие этого раздражительность паче меры» (Григорьев. Письма. С. 129); ср. парадоксальную характеристику сочинения Крылова в письме к Эдельсону от 5 (17) декабря 1857 г.: «В статье Крылова есть два элемента: гениальный <...>, элемент художества и вдохновения — и хамский, притом хамский двух родов: хамский демократический и хамский совсем» (Там же. С. 168–169; ср. многочисленные упоминания о Крылове в григорьевских «Листках из рукописи странствующего софиста»). Отзывы Григорьева совпадают с впечатлением от личности Крылова многих современников: «Крылов был человек необыкновенно умный и даровитый, но полнейший невежда и лишенный всякого нравственного смысла. Много прегрешений прощалось ему за его ум и талант» (Русское общество 40–50-х годов XIX в. Ч. 2: Воспоминания Б. Н. Чичерина. М., 1991. С. 47). Правоведческие идеи Крылова близки к идеям Шевырева относительно русской литературы: в западном праве он усматривал сочетание «многих и разнородных стихий: римской, канонической, германской и местной» (Крылов Н. Об историческом значении римского права в области наук юридических. М., 1838. С. 19), тогда как в русском праве, вслед за византийским, видел «какое-то органическое соединение светского и церковного права» (Там же. С. 33). Не отрицая влияния римского права на русское, Крылов делал вывод о способности русского народа гармонично соединять достижения всех наций: «...мы обратились к Западу, дабы взять у этих владельцев классической древности все лучшее и довести до собственного сознания, усвоить себе под нашею, уже народною формою. Мы готовы принимать от других все истинное, доброе и изящное, но из этого делаем нашу собственность. Одним словом, мы осваиваем чужое. <...> Все, что

другими народами выработано лучшего и возведено до всеобщих начал, мы готовы себе усвоить: но эти лучшие временные явления идей вечных мы пересаживаем на свою почву <...>, перерабатываем их сообразно нашей народности и делаем из них нашу отдельную, неотчуждаемую собственность» (Там же. С. 58). Крылов считал необходимым заимствовать «формальную сторону» римского права (Там же. С. 66). Примером такой способности русского права служит для Крылова «*“Свод российских законов”*», обширный, как сама Россия, описанная в юридическом своем быту» (Там же. С. 59; схожие идеи высказывали и другие правоведы того времени — ср.: *Линовский В.* Исследование начал уголовного права, изложенных в «Уложении» царя Алексея Михайловича. Одесса, 1847). Как и Шевырев, Крылов был противником умозрительных классификаций: «Приверженец германской исторической школы времен Савиньи, он хотел разгромить философское направление; но так как он философии вовсе не знал и ничего в ней не смыслил, то выходило одно лишь пустословие с разными шутовскими выходками...» (Русское общество 40–50-х годов XIX в. Ч. 2: Воспоминания Б. Н. Чичерина. С. 49). Его интерес к римскому праву и политические воззрения большинством современников увязывались воедино — ср., например, направленный против него памфлет А. И. Герцена «Лобное место» (1857): «И нам теперь при возрождении России, после тридцатилетнего несчастья, пришлось видеть то же направление, также идущее от легистов и римского права...» (*Герцен А. И.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. 13. С. 32).

О явном влиянии Крылова свидетельствует ранняя рецензия Григорьева «Руководство к познанию законов». Соч. графа Сперанского» (Финский вестник. 1846. Т. 9. Отд. V). Как и Крылов, Григорьев очень высоко оценивает «Свод законов», составленный Сперанским, «это колоссальнейшее явление в области права после Юстинианова свода» (Там же. С. 1). Показательна здесь и параллель с византийским законодательством. Мероприятия Сперанского Григорьев понимает как естественно вытекающие из развития народного духа: «...прежде чем народу дано будет полное, органическое уложение, должно привести в ясность его прошедшее, ибо на прошедшем зиждется настоящее...» (Там же. С. 10). В этой ранней статье Григорьев, следом за Шевыревым и Крыловым, называет историческое дело Запада исчерпанным и противопоставляет ему Россию: «...грунт западной жизни, давно распаханый беспощадною косою реформаций и революций, упитанный человеческого кровью, почти истощил уже свои соки и ждет обновления от иных элементов, <...> только славянскому миру предоставлено начать *новую историю*: Запад истощил все свои формы жизни <...>, Запад потерял веру в вечность жизни...» (Там же. С. 5). Впрочем, Григорьев резко осуждает школу исторического права в лице ее крупнейшего представителя Ф. К. фон Савиньи, которого критик характеризует как «главу филистерии» (Там же. С. 7). Соображения Григорьева об исторической школе в истории права, о полемике Савиньи и Тибо и др. из ранней рецензии по сути совпадают с идеями, высказанными в комментируемой статье, однако Григорьев отказался от следования идеям Крылова: формализм римского и европейского права («не странный взгляд») теперь оценивается им резко отрицательно. Образцом российского законодательства для Григорьева становится не «Свод законов» Сперанского, а Соборное уложение 1649 г., органически выросшее, по Григорьеву, из народных убеждений. Вероятно, отказ от идей Крылова связан с изменением политической позиции Григорьева: если в статье 1846 г. он восторженно отзывался об «официальной народности», то в статье 1855 г. намекает на необходимость реформ. Таким образом, Григорьев, развивая собственные ранние идеи и соображения славянофилов, утверждал, что именно России дана возможность избежать двойственности европейского права и соединить строгую кодификацию и естественную связь законов с народным духом. Эта программа предполагает, с одной стороны, необходимость немедленных реформ законодательства, а с другой стороны, отказ от введения «западных» норм правового мышления, которые бурно развивались в России середины XIX в. (см.: *Уортман Р. С.* Властители и судии: Развитие правового сознания в императорской России. М., 2004).

Статья Григорьева была первой попыткой московских кружков публично высказаться по поводу своей политической программы после смерти Николая I. Высказанные Григорьевым идеи находят параллели в публикациях образованного в 1856 г. славянофильского журнала «Русская беседа» и распространившихся в рукописях «Историко-политических письмах» Погодина. Григорьев выражал не только свои убеждения, но и мнение представителей московского общества, от Шевырева до славянофилов, которые в середине 1850-х гг. во многом преодолели свои разногласия перед лицом серьезной политической ситуации.

Григорьев читал свою статью в московских литературных кружках летом 1855 г. — см. письмо М. И. Семецкого к Г. Е. Благовестову (между 12 июня и 24 июля), где упоминается о чтении в компании Е. Э. Дрианского, Б. Н. Алмазова и автора письма: «Украшением, перлом сегодняшней по обыкновению живой беседы нашей было чтение статьи о Посошкове А. А. Григорьева. — Статья эта читана была мне в первое знакомство с Аполлоном Александровичем, — но теперь она еще во многом противу прежнего дополнена, улучшена. — Надо только желать, чтобы этот

дельный разбор гениальных рассуждений и проектов крестьянина времена Петра I явился поскорей в печати» (Славянофилы и «Русская беседа» в письмах М. И. Семевского к Г. Е. Благовестову (1856) / Вступ. ст., публ. и коммент. О. Л. Фетисенко // «Русская беседа»: История славянофильского журнала: Исследования. Материалы. Постатейная роспись. СПб., 2011. С. 354–355).

С. 555. ...мизирным робичищем... — В первом же предложении «Книги о скудости и богатстве» Посошков именует себя «мизирный Его императорского величества робичищ» (Посошков. С. 3).

С. 555. ...столько же отрицательным, как и взгляд Котошихина... — О Г. Котошихине (Котошихине) см. наст. изд., с. 800.

С. 555. ...вельми застаревшей на Руси неправды... — Отсылка к словам Посошкова: «...у нас в Руси неправда вельми застарела» (Посошков. С. 86).

С. 555. ...беглый дяк, явный прелюбодей и, наконец, убийца, подпавший уголовной каре даже на чужбине... — Имеются в виду обстоятельства гибели Котошихина, казненного в Швеции за убийство домовладельца, который подозревал его в связи с своей женой. Сведения об этих обстоятельствах Григорьев получил из предисловия к публикации сочинений Котошихина (см. наст. изд., с. 800).

С. 556. ...«Бог любви есть» — Библейское выражение (1 Ин 4: 8).

С. 556. ...не без урону, употребляя выражение Посошкова... — Отсылка к словам Посошкова: «А без урону я не чаю установится правда», — цитированным выше.

С. 556. ...раздражение других его последователей, которые не довольны окружающею их действительностью, потому что нет в ней простору их чрезмерно утонченным потребностям... — Явная аллюзия на какие-то современные Григорьеву события, установить которые однозначно вряд ли возможно. Речь может идти, например, о рецензии Н. Г. Чернышевского на комедию Островского «Бедность не порок», вызвавшей у Григорьева резкую враждебность именно за выразившееся в ней презрение к изображенному Островским «быту» (см. наст. изд., с. 795); о возмущивших Григорьева статьях Н. С. Тихонравова и С. С. Дудышкина (см. наст. изд., с. 495–496, 511) и др.

С. 556. ...«Русского государства люди ~ и ненавиди, и неправды»... — Цитируется сочинение Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича» (СПб., 1840. С. 41).

С. 556. ...думцы Московского государства ~ знать ратное дело? — Вероятно, речь идет о событиях, описанных Погодиным в его статье «О Москве» (1837). В 1360 г., после эпидемии чумы («годины бедствий народных»), владимирский князь Димитрий Константинович, воспользовавшись слабостью малолетнего московского князя Димитрия Иоанновича, получил из Золотой Орды ярлык на великое княжение. Московские бояре, сыграв на внутренних противоречиях в Орде, добились возвращения ярлыка московскому князю (см.: Погодин М. Историко-критические отрывки. М., 1846. С. 141–142). Погодин склонен был видеть в этих событиях цепь providенциальных актов, способствовавших утверждению Москвы и русского государства. В том же издании помещены и многочисленные статьи Погодина о «местничестве», которое он трактовал как продолжение удельной системы и считал фактором, во многом определившим особенности даже чиновничества XVIII–XIX вв. Выражение «думцы» у Погодина отсутствует. Григорьев, видимо, имел в виду, что бояре были членами княжеской думы; в указании на их «думский» статус, вероятно, содержится намек на необходимость создания своеобразных совещательных органов по образцу Древней Руси.

С. 556. ...Потемкиных, Чемодановых, Лихачевых... — О Чемоданове см. в первой части статьи Григорьева (наст. изд., с. 798). Дворянин Петр Иванович Потемкин (1617–1700) неоднократно ездил с посольствами в разные страны Западной Европы при Алексее Михайловиче. Григорьев имеет в виду документы его посольства во Францию, цитируемые ниже. Стольник Василий Богданович Лихачев (годы жизни неизвестны) ездил с посольством во Флоренцию в 1658–1659 гг.

С. 556. Приходил к посланником откупщик... — Цитируется «Статейной список посольства стольника и наместника Боровского Петра Ивановича Потемкина во Францию в 7175 (1667) году» (Древняя российская вивлиофика. Изд. 2-е. Ч. IV. М., 1788. С. 466–467). Цитата содержит незначительные неточности; орфография приближена к нормам времен Григорьева.

С. 557. ...доказав это недавно даже перепечаткою завещания историка Татищева в виде неизданного памятника и сочинения какого-то г. Солнцева... — Речь идет о публикации «Духовной моему сыну» В. Н. Татищева в «Отечественных записках» (1855. № 2. Отд. II. С. 151–162). В журнале текст был озаглавлен «Завещание помещика сыну» и приписывался предку некоего помещика А. А. Солнцева; последний передал рукопись «Завещания...» Г. П. Данилевскому, переславшему ее редакции журнала. Ни Данилевский, ни редакция не установили, что перед ними хорошо известное сочинение Татищева. Впервые текст «Духовной» был опубликован в 1775 г.

С. 557. ...называли мы для вящего ее соблазна «новым словом». — Вероятно, Григорьев пытается объяснить парадоксальное отождествление «нового» и «старого слова» в своей предыдущей

статье «О значении комедий Островского...» (см. наст. изд., с. 474) изначальным желанием поиронизировать над своими литературными оппонентами. Между тем, в статье «Русская изящная литература в 1852 году» понятие «новое слово» с народностью не отождествлялось.

С. 557. ...сличая Русакова, например, или отца Петра Ильича, как титы, с воззрениями Посошкова, или стольника Потемкина... — Герои пьес Островского «Не в свои сани не садись» и «Не так живи, как хочется» сопоставлены с реальными историческими лицами XVII–XVIII вв.

С. 557. ...если художник приступит к такому деланию, не имея в душе непосредственного синтеза, то он только иссушит воображение. — Общее место немецкой идеалистической эстетики состояло в понимании искусства как синтеза конкретного и абстрактного, частного и всеобщего, временного и вечного. Как высший достижимый человеком синтез понимал искусство Шеллинг.

С. 558. ...издатель его сочинений... — Имеется в виду Погодин.

С. 559. ...с складистыми седыми бородами... — Борода воспринималась в кругу Григорьева как очень характерная черта купеческой внешности. Ср. многочисленные упоминания бороды в ранних пьесах Островского — так, герой комедии «Не в свои сани не садись» носит фамилию Бородкин.

С. 559. ...в этой могучей, спокойно уверенно сознающей себя народности... — В романтической философии «самосознание» народности — важнейший признак ее превращения в нацию и одна из наиболее существенных задач литературы. Например, в «Литературных мечтаниях» Белинский именно невыполнением этой функции доказывал несуществование русской литературы, представители которой должны были бы выражать «дух того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнию которого они живут и духом которого дышат, выражающих в своих творческих произведениях его внутреннюю жизнь до сокровеннейших глубин и биений» (Белинский. Т. 1. С. 51).

С. 559. В Ливорне церковь греческая во имя Николая Чудотворца... — Здесь и далее неточно цитируется «Статейной список посольства дворянина и Боровского наместника Василия Лихачева во Флоренцию в 7167 (1659) году». Он издавался неоднократно. Вероятно, здесь цитируется по: Древняя российская вивлиофика. 2-е изд. М., 1788. Ч. IV. С. 344, 346.

С. 559. ...с безобразною нетерпимостью «Маяка» и псевдо-славянской школы Шишкова... — О журнале «Маяк» и отношении к нему Григорьева см. наст. изд., с. 659. Об А. С. Шишкове, вдохновителе и руководителе общества «Беседа любителей русского слова» и противнике высоко ценимого Григорьевым Карамзина, критик более подробно писал в статье «Народность и литература» (Время. 1861. № 2), где противопоставил Шишкова славянофилам А. С. Хомякову и И. В. Киреевскому. В статье «Оппозиция застоя. Черты из истории мракобесия» Григорьев объединил Шишкова и «Маяк» под названием «петербургского славянофильства» (Григорьев. Эстетика. С. 293), чуждого, по его мнению, настоящей русской жизни, в отличие от славянофильства московского.

С. 559. ...«Белый царь над всеми царями царь», по словам Голубиной книги... — Имеется в виду знаменитый сборник духовных стихов «Голубиная книга», достаточно широко известный во времена Григорьева. В «Голубиной книге» описана беседа библейского царя Давида и князя Владимира. Ответ на вопрос, отчего «белый царь над всеми царями царь», основан на том, что только его царство может быть названо подлинно православным (см.: Шевырев 1846. Т. 1. Ч. 1. С. 240–241; Шевырев ссылается на П. В. Киреевского, сообщившего ему текст «Голубиной книги». — Там же. С. 236).

С. 559. ...в официальном акте посольства... — Имеется в виду статейный список посольства Лихачева (см. выше). Цитата содержит неточность: имя князя «Фердинандуса» в «Древней российской вивлиофике» приведено как «Фердинанд», тогда как у Григорьева оно названо дважды, и оба раза неверно. Написание «Фердинандус» встречается в другом издании статейного списка, в котором, впрочем, документ (включая приводимые Григорьевым цитаты) подвергся значительному сокращению (см.: <Чертков А. Д.> Описание посольства, отправленного в 1659 году от царя Алексея Михайловича к Фердинанду II-му, великому герцогу Тосканскому. М., 1840. С. 16).

С. 559. ...убеждения, засвидетельствованного великими событиями 1612 года и перешедшего всю силу своею в грамоту об избрании Михаила Романова... — Речь идет о действиях ополчения под предводительством Минина и Пожарского в Смутное время (1612) и об избрании на царство Михаила Федоровича Романова (1613). Этот исторический период во времена правления Николая I часто трактовался как эпоха «национального возрождения» (Уортман Р. С. Сценарии власти: Мифы и церемонии русской монархии. М., 2004. Т. 1: От Петра Великого до смерти Николая I. С. 509) — ср. оперу М. И. Глинки «Жизнь за царя», пьесу Н. В. Кукольника «Рука Всевышнего отечество спасла», роман М. Н. Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». В это же время был созван Земский собор, на необходимость проведения которого намекает Григорьев.

С. 560. ...указывается провидением великая судьба начать истинно новую историю, дополнить в сумме приобретений человечества огромные пробелы, оставленные древнею и средневековою. — Григорьев намекает на представления об огромном всемирно-историческом значении русского народа, еще

до него выдвигавшиеся различными мыслителями, среди которых были Погодин и Шевырев (см. в наст. изд. статью «Об отношении современной критики к искусству» и коммент. к ней, с. 512, 805).

С. 560. ...*в посланиях митрополита Никифора ~ придает византийское значение...* — Митрополит Никифор (ум. 1121) был автором двух посланий к князю Владимиру Всеволодовичу Мономаху (1053–1125). Оба они были опубликованы К. Ф. Калайдовичем (см.: Русские достопамятности. М., 1815. Ч. 1. Памятники российской словесности XII века. М., 1821). Общая характеристика посланий Никифора у Григорьева основана на их подробном разборе Шевыревым (см.: Шевырев 1846. Т. 1. Ч. 2. С. 202–210). Описание Мономаха как «нарядника и охранника общинного быта» связано, с одной стороны, с летописными характеристиками князей, где слово «нарядник» встречается неоднократно, а с другой — с теорией «общинного быта» Погодина и славянофилов. Спор о «родовом» и «общинном быте» отразился и в «Сне по случаю одной комедии» Алмазова (см. наст. изд., с. 123).

С. 560. ...*между понятиями Мономаха о самом себе ~ по выражению летописи...* — Общая характеристика «Поучения» Мономаха основана на разборе этого сочинения Шевыревым (см.: Шевырев 1846. Т. 1. Ч. 2. С. 191–201). Выражение «много пога утер за землю русскую» употребляется по отношению к Владимиру Мономаху в летописи, которую цитирует С. М. Соловьев во 2 томе «Истории России с древнейших времен» (Соловьев С. М. Соч.: В 18 кн. М., 1988. Кн. 1. С. 403; впервые: 1852). Варяги названы «находницы» в «Повести временных лет» под 862 г. Этот фрагмент многократно цитировался в самых разных исторических сочинениях, которые были известны Григорьеву, в том числе в «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, «Истории русского народа» Н. А. Полевого, «Исследованиях, замечаниях и лекциях по русской истории» Погодина.

С. 560. ...*едва выразится он, например, увещательно и поучительно ~ «смоляная, и княин, и всех властей»*. — Речь идет о Лаврентьевской летописи, где под 1175 г. помещен пространный рассказ об убийстве «самовластца» Андрея Боголюбского, а под 1176 г. — описание сложных взаимоотношений различных русских городов, в котором содержатся приведенные Григорьевым цитаты. Критик мог знать текст Лаврентьевской летописи по его изданию в составе «Полного собрания русских летописей» (Т. 1. СПб., 1846). Погодин посвятил Андрею Боголюбскому статью, где писал: «Это был самый смелый князь своего времени, который уметь захватить в свои руки власть почти над всею своею братьею <...> он вывел на позорище истории другое племя, великорусское ...» (М. 1849. № 19. Отд. I. С. 202).

С. 561. ...*формализм сам себя подорвал, сам собою недоволен...* — Видимо, речь идет о поздней философии Шеллинга, которую Киреевский в статье «О характере просвещения...» характеризовал так: «...западная философия теперь находится в том положении, что ни далее идти по своему отвлеченно-рациональному пути она уже не может, ибо сознала односторонность отвлеченной рациональности, ни проложить себе новую дорогу не в состоянии, ибо вся сила ее заключалась в развитии именно этой, отвлеченной, рациональности...» (Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1984. С. 271).

С. 562. *Другой, не странный, взгляд выработал под влиянием римского права весьма тонкую философско-юридическую теорию о различии материальной и формальной истины...* — В юриспруденции формальная истина — соответствие выводов следствия и суда определенным формальным условиям; материальная истина — доказанность обвинения обстоятельствами дела.

С. 562. ...*litis contestatio...* — Понятие использовалось в судебной практике середины XIX в. (см.: Словарь немецкой и французской купеческой юриспруденции... М., 1832. Стлб. 73).

С. 562. ...*отсвечивается идея личного, гражданского произвола...* — Источник цитаты не установлен.

С. 562. *Таковым одна часть с бесами!* — Неточная цитата из драмы Островского «Не так живи, как хочешь» (д. I, явл. 3). Ср.: «Кто впал в гульбу да в распутство, от того благодать отступает, а враги человеческие возрадуются, что их волю творят, и приступают, поучая на зло, на гнев, на ненависть, на волхование и на всякие козни. И таковым одна часть со врагом» (Островский. Т. 1. С. 383).

С. 562. *Осмотришься, старичок, и эту речь внемли! Нестъ грех побеждающ Божию человеколюбю!* — Цитируется приписка неизвестного лица (по предположению Погодина, переписчика) к словам Посошкова о том, что богохульников требуется немедленно «вершить» (см.: Посошков. С. 62).

С. 562. ...*жизненное понятие старика Агафона в «Не так живи, как хочешь»...* — Первые слова Агафона в драме «Не так живи, как хочешь» (д. II, явл. 9) «Я все с лошадкой: отпрег, поставил на место, сенца дал. Животинку-то жалеть надо; ведь она не скажет» (Островский. Т. 1. С. 397).

С. 563. ...*смело высказал в своей «Переписке» в письме о «Сельском труде и расправе», которое, как и вся книга, подверглось тогда глумлению и упрекам.* — Далее с пропусками и незначительными неточностями цитируется статья Гоголя «Сельской суд и расправа», вошедшая в книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Многообразием Григорьев заменил, видимо, слишком «правоведческую» фразу Гоголя: «Старайтесь, чтоб это было при свидетелях, чтобы тут стояли

и другие мужики, чтобы все видели ясно, как день, чем один прав и чем другой виноват» (Гоголь. Т. 8. С. 342). Другие несовпадения с современными изданиями Гоголя объясняются тем, что Григорьев цитирует по значительно искаженному цензурой изданию. Статья Гоголя вызвала особенно резкий упрек Белинского в его зальцбруннском письме: «А Ваше понятие о национальном русском суде и расправе, идеал которого нашли Вы в словах глупой бабы в повести Пушкина и по разуму которого должно пороть и правого, и виноватого? Да это и так у нас делается в частую, хотя чаще всего порют только правого, если ему нечем откупиться от преступления — быть без вины виноватым!..» (Белинский. Т. 8. С. 283).

С. 563. ...не в виде чаяния, в каком являются большею частью у Гоголя все коренные великорусские созерцания... — Об отношении Григорьева к Гоголю как не вполне «великорусскому» автору см. в наст. изд. коммент. к статье «Взгляд на “Библиотеку для чтения” в прошлом году», с. 768–769.

С. 564. ...тому, что гнило в самом основании. — О мотиве «гниющего Запада» у Григорьева ср. наст. изд., с. 741.

С. 564. ...уголовные его теории — не простираются далее несчастной теории устрашения, умеряемой только гораздо вышшею их непосредственностью... — Теория устрашения, одна из древнейших теорий наказания в мировом праве, основана на предположении, что жестокость наказания способна напугать возможных преступников и тем самым предотвратить преступление.

С. 565. ...государственному и моральному китаизму... — Китай, не в последнюю очередь благодаря пренебрежительному отношению Гегеля, воспринимался во времена Григорьева как воплощение застоя, чуждое подлинно историческому бытию.

С. 565. Стоит только припомнить ~ подборникам кодификаций. — В ранней рецензии на «Руководство к познанию законов» Сперанского (см. о ней в преамбуле) Григорьев изложил свои претензии к теории знаменитого юриста Ф. К. фон Савиньи: «Странное, непостижимое почти явление, что и до сих пор еще раздаются в Германии, а следовательно, у нас также, пошлые возгласы о незыблемости римского права, о приложимости его к жизни, возгласы, возмущающие своим филистерским самодовольством, своим грубым равнодушием к современности и жизни, возгласы, которые у нас бессильны, но которые в Германии произвели учение, известное под именем Исторической школы, учение, освятившее страшный грех раздвоения мысли и дела, этот апогей отвратительной филистерии. Представителем этого учения был знаток римского права Савиньи, но еще прежде подан был сигнал к начатию борьбы профессором Галлером...» (Финский вестник. 1846. Т. 9. Отд. V. С. 7). Григорьев ссылался на сочинение Савиньи «Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft» («О призвании нашего времени к законодательству и правоведению», 1814).

С. 565. Законодательство Европы представляло, а кое-где, как в Англии, до сих пор представляет — хлам развалин прошлого, поросших мхом, с новыми постройками и пристройками... — Крылов характеризовал европейское законодательство до эпохи кодификаций так: «Самая практика судебная стояла на шатких основаниях, не имела общеизвестности и одинаковости, так что один решал дела так, а другой по иным началам. Произвол, добросовестный и недобросовестный, был при этом состоянии неизбежен; неизбежно было и вредное, разрушительное его влияние на жизнь народную. Жалобы слышны были со всех сторон и исходили из всех сословий граждан» (Крылов Н. Об историческом значении римского права в области наук юридических. М., 1838. С. 19). Английское законодательство не кодифицировано до сих пор.

С. 565. ...поступить с гордиевским узлом по-александровски, пожалуй, по-наполеоновски... — Согласно известной легенде, Александр Македонский рассек мечом Гордиев узел, который невозможно было развязать. С ним сопоставляется Наполеон I, принявший так называемый наполеоновский Гражданский кодекс (1804), который в ранней статье Григорьева охарактеризован буквально теми же словами: «...реакция возбудила в европейском обществе вопрос о кодификации. Железная воля Наполеона <...> практическим и смелым ударом разрешила первоначально этот вопрос: Code Napoléon <наполеоновский кодекс — франц.> разом, как Гордиев узел, рассек все нити, связывавшие Францию с ее прошедшим, и на грунте революции построил новое здание» (Там же. С. 6).

С. 565. Принять ли за *gemeines Recht* римское право? ~ одну личную волю законодателя? — «Общее право» (*gemeines Recht*) в Европе отождествлял с наследим римского права Крылов: «...римское законодательство сделалось общим правом (*gemeines Recht, jus commune*). <...> В этом историческом процессе некоторые римские законы, по свойству своему более местные, должны были измениться <...>; некоторые обычные постановления европейских государств удержали свою силу; одним словом, римский всеобщий элемент приведен в гармонию с местным — частным» (Крылов Н. Об историческом значении римского права в области наук юридических. С. 19). Схожие идеи Григорьев выразил в ранней статье: «Единство <...> заключалось в *gemeines Recht* <...>. Ложь, страшная ложь лежала в этом, так сказать, наклеенном начале государства и права. Римское

законодательство, бывшее всегда предметом какой-то неестественной любви немцев, принятое как завоевание грубыми племенами Германии, вьелось, так сказать, своею старою мыслью в основы общества и, вовсе ему чуждое, отяготело на нем своими уже совершившимися данными» (Финский вестник. 1846. Т. 9. Отд. V. С. 7). Григорьев также упоминает такие способы кодификации, как разработка кодекса согласно некой отвлеченной теории «некоторых мыслителей» (могли иметься в виду занимавшиеся юриспруденцией немецкие философы, такие как И. Г. Фихте и Гегель) или «воле законодателя» — видимо, наподобие наполеоновского кодекса.

С. 565. ...*в них таится жизнь посильнее жизни личной мысли или диалектической жизни...* — Видимо, под «личной мыслью» имеется в виду «воля законодателя», а под «диалектической жизнью» — философские теории права (см. выше).

С. 565. ...*сердцем будешь всегда скорее на стороне мыслителей ~ ждать всего от науки...* — Григорьев повторяет мысли своей же ранней статьи (подробнее см. в преамбуле), где речь шла о том, что на теории Савиньи «отвечал благородный, хотя слишком увлекавшийся Тибо брошюрою: «Über die Notwendigkeit einer Gesetzsgebung» <«О необходимости законодательства» — нем.>, брошюрою, полною ума и едкой злости» (Финский вестник. 1846. Т. 9. Отд. V. С. 8). Имеется в виду знаменитый юрист Антон Фридрих Юстус Тибо (Thibaut, 1772–1840) и его работа 1814 г., где Тибо отстаивает необходимость кодификации немецких законов.

С. 566. ...*в правдах, уставах, грамотах, судебныхниках выростала одна и та же мысль, воплотясь, наконец, в истинно-земское уложение...* — Речь идет о Соборном уложении 1649 г. Вопреки юридической мысли своего времени (см., например: Морозкин Ф. Об Уложении и последующем его развитии. М., 1839), Григорьев пытается представить его совершенно лишенным всяких заимствований из иностранных источников.

С. 566. ...*знает всякий русский человек всякую пословицу, какова бы она ни была, то есть слыша ее, припоминает, узнает за родную, за знакомую...* — Глубинная связь пословиц с духом простого народа — общее место романтических теорий нации. Ср., например, в статье Гоголя «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность», вошедшей в «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847): «Сверх полноты мыслей, уже в самом образе выраженья, в них отразилось много народных свойств наших; в них все есть: издевка, насмешка, попрек — словом, все шевелящее и задирающее за живое: как стоглазый Аргус, глядит из них каждая на человека. Все великие люди, от Пушкина до Суворова и Петра, благоговели перед нашими пословицами. Уважение к ним выразилось многими поговорками: “Пословица недаром молвится”, или “Пословица вовек не сломится”. Известно, что если сумеешь замкнуть речь ловко прибранной пословицей, то сим объяснишь ее вдруг народу, как бы сама по себе ни была она выше его понятия» (Гоголь. Т. 8. С. 392).